

УДК 82.09

ББК 83

А.В. Гоганова**«ЧЕВЕНГУР»
АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА
КАК УТОПИЯ:
МНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ**

Чевенгурская утопия рассматривалась исследователями творчества А. Платонова с самых разных позиций: в социальном, философском ключе, с точки зрения народной эсхатологии, как утопия языковая. «Чевенгур» действительно совмещает в себе различные виды утопического сознания. Вместе с тем произведение не является традиционной утопией, а должно быть рассмотрено как уникальное в жанровом плане произведение XX в., несущее в себе черты утопии только как «память жанра».

Ключевые слова: *творчество А. Платонова, «Чевенгур», утопия.*

Гоганова Александра Владимировна – аспирант кафедры истории русской литературы XX в. филологического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова
Тел.: 8-916-558-04-57
E-mail: agoganova@mail.ru

© Гоганова А.В., 2013.

Вопрос о жанровом определении произведения Платонова встал ещё до публикации «Чевенгура» у нас в стране (в журнале «Дружба народов» за 1988 г.) – в работах самых первых исследователей периода перестройки. В 60-х Платонов воспринимался «в ряду всей “задержанной” литературы советского времени» [Рыбальченко, с. 12], на первый план выходил антисоветский пафос его произведений, поэтому первоначально произведение было прочитано только как критика социалистической утопии. Хотя уже в «первопроходческой» книге Л. Шубина 1967 г. «Поиски смысла общего и отдельного существования» (издана после смерти автора в 1987 г.) определение было менее категоричным: автор говорил о «столкновении утопических представлений о социализме с реальной практикой социализма» [Шубин, с. 308]. В.В. Васильев, который в целом понял роман как «коммунистическую утопию» [Васильев, с. 55], творимую фантазёрами от революции [Там же, с. 59], добавлял, что при этом утопия оборачивается чем-то себе противоположным к концу романа, что революция, «пущенная самотёком», превращает настоящее «и в трагедию и в фарс одновременно» [Там же, с. 69]. Похожее определение платоновской утопии дал историк и писатель М. Геллер; он предложил интерпретировать все творчество А. Платонова как «испытание утопии» [Геллер, с. 403].

Другими словами, хотя с самого начала было понимание, что «Чевенгур» Платонова не вмещается в жёсткие рамки социальной

утопии или антиутопии, большинству исследователей на протяжении всего советского периода было свойственно «шестидесятническое» объяснение духовного развития Платонова как «писателя социализма, изжившего его в себе» [Рыбальченко, с. 18]. В 1960-е гг. духовный путь Платонова представлялся общим для русской интеллигенции: ангажированность социальными и техницистскими идеями начала XX в. [Там же] выходила на первый план.

Понимание «Чевенгура» как социалистической утопии несколько осложнилось, когда вместо марксистской идеологии в творчестве Платонова увидели менее известное учение А. Богданова (А. Малиновского), которое сочетало в себе марксистские лозунги с богостроительством и верой в построение пролетарского рая на земле. Андрей Платонов был членом созданной Богдановым организации «Пролеткульт», а также создателем её районного аналога у себя в Воронеже. Поэтому сложный комплекс богдановских идей, естественно, оказал на него сильное влияние. К тому же Богданов – первый создатель социалистических утопий после «Что делать?» Н.Г. Чернышевского. В его научно-фантастических повестях «Красная звезда» (1908) и «Инженер Мэнни» (1913) чаемый коммунизм построен на Марсе. Решающую роль в выборе жанра «Чевенгура» мог сыграть именно опыт создания социалистической утопии Богдановым.

Большинство исследователей учитывали сложность социального аспекта утопии Платонова, но всё-таки «воспринимали лишь этико-социальную направленность опубликованной прозы в ряду всей “задержанной” литературы советского времени» [Рыбальченко, с. 12]. Зато была и другая часть исследователей (к ним относились в основном учёные последнего времени), которые, «не ограничившись социальной интерпретацией, созвучной постсоветской идеологии» [Там же], обратили внимание преимущественно на философскую сложность прозы Платонова.

Путь к этому тоже шёл через выявление исторического и идеологического контекста романа. Ключевым открытием в этой области стало открытие влияния на Платонова философии Николая Фёдорова. Первым о его идеях в повести «Котлован» в 1970 г. написал американский исследователь А. Киселёв [Киселёв]. В конце 1970-х эту связь «открыли» заново, независимо друг от друга, Е. Толстая-Сегал (Израиль), С. Семёнова, Н. Малыгина, Л. Геллер и М. Нике. В 1980-х о влиянии «популярного в символистских кругах конца века русского философа-утописта Н.Ф. Фёдорова с его идеями переустройства всего Космоса, подвластного человеческому сознанию», написала Н.Г. Полтавцева [Полтавцева, с. 30]. В Англии в 1982 г. вышла книга А. Тески «Платонов и Фёдоров». При этом главным предметом изучения стал фёдоровский утопизм. Он строится на невозможности принять смерть и на утверждении, что живые имеют моральный долг перед умершими и обязаны преобразовать Землю с целью их воскрешения. «Окончательное уничтожение мыслящего, чувствующего, уникального существа в бездне небытия» [Семёно-

ва, с. 305] не мог принять и Платонов. С идеей бессмертия тесно связаны не только идеи «супраморализма» [Толстая-Сегал, с. 9], т. е. долга живых перед всеми умершими, но и соборная идея философа, согласно которой человечество должно объединиться именно ради воскрешения предков. Повышенная роль человека во Вселенной в утопии Фёдорова привлекала не только Платонова, но и значительный ряд мыслителей начала века, которые составили целое направление русской мысли – космизм.

Влияние космизма на Платонова проходило не через одного Фёдорова. Близки ему и идеи К. Циолковского, ещё радикальнее утверждавшего бессмертие человека и говорившего, что «смерть есть одна из иллюзий слабого человеческого разума» [Циолковский, с. 7]. Упоминается исследователями влияние ноосферных идей В. Вернадского на представления Платонова о миссии цивилизации в природе [Рыбальченко, с. 18]. В основном это идеи натурфилософской, естественнонаучной ветви русского космизма. Развивая идеи Фёдорова, представители этого учения делали акцент на том, что одно из средств на пути к преображению миров человеком, осознавшим свою ответственность за Вселенную, станут научно-технические достижения. Таким образом, среди утопий, интенсивно развивающихся в России с конца XIX в.: теократических, технократических, социальных и теургических (спасение творчеством) [Гальцева, с. 10], – космистские утопии казались универсальными. В них теургия сплавлялась с технократией [Там же], мистические упования на преобразование мира – с верой в возможности науки и техники. Она в большой степени отвечала чаяниям Платонова, желавшего слить воедино духовные и материальные силы в мире и в человеке.

«Фёдоровская неомифология» [Рыбальченко, с. 13] стала упоминаться в каждом исследовании о чевенгурской утопии, а проблематика «Чевенгура» стала представляться уже не столько социальной, сколько философской. Не бытие, а бытие духа – главный вопрос для чевенгурцев, писали исследователи. Кроме того, «никакие законы, кроме этических, не регулируют жизнь коммуны» [Геллер, Нике, с. 43] – в этом отличие «Чевенгура» от других утопий, следовательно, это скорее «супраморалистская» утопия в духе Фёдорова, нежели марксистско-богдановская социальная.

Идеи Фёдорова, выявленные в творчестве Платонова, оказались интересны исследователям и ещё в одном аспекте. «В своём типично русском по стилю "нравственном философствовании"» Фёдоров выразил традиции народной социальной утопии [Полтавцева, с. 30]. Народная традиция, и особенно национальная эсхатология, стала новым предметом исследования в творчестве Платонова. «Чевенгур» стали рассматривать через призму старообрядческих, сектантских, хилиастических или миллениаристских идей. На первый план выдвинулось «национально-мистическое истолкование социально-исторической концепции Платонова» [Рыбальченко, с. 18], а его утопия стала трактоваться в том числе как народно-религиозная.

За «религиозное христианское представление о большевизме» Платонова осуждал ещё его современник А. Гурвич [Гурвич]. Современные критики и литературоведы стали вписывать чевенгурскую утопию в религиозные традиции, но уже неортодоксального толка. Первым о связях Чевенгура с хилиастическими традициями написал В. Варшавский: «Андрей Платонов изображает большевистскую революцию как великую и в то же время безумную, страшную и жалкую эсхатологическую драму. В Чевенгуре все апокалиптики» [Варшавский, с. 129]. Варшавский первым написал также о параллелях в романе с европейскими средневековыми сектами: Чевенгур «настолько напоминает эгалитарно-коммунистические мессианские движения европейского средневековья, что с удивлением чувствуешь: тут не только сходство, тут прямое, хотя и скрытое, подземное преемство» [Там же, с. 132]. Михаил Геллер в одной из первых книг о творчестве Платонова «Андрей Платонов в поисках счастья» тоже писал о религиозном характере платоновской утопии. Геллер описывает восприятие коммунизма героями Платонова – как новой религии, но «именно религии, искажённо наследующей психологические формы христианства». Как и христианство, новая религия проходит, по идее исследователя, три этапа: пророческий, апостольский и церковный.

Другие исследователи Л. Геллер и М. Нике большое внимание уделили исторической основе мистицизма чевенгурцев. В своей книге они вписали «Чевенгур» в контекст русских крестьянских утопий. Очевидные черты сходства нашлись у чевенгурской утопии с легендой о Белозёрье – старообрядческой по происхождению легендой, в которой царство справедливости является результатом праведной жизни народа. В. Варшавский доказывал, что утопия чевенгурцев носит прежде всего мистический характер. Например, Копёнкин догадывается, что в Чевенгуре «нет никакого коммунизма», потому что не исчезла смерть: женщина принесла ребёнка, а он умер. Большой вклад в изучение мистицизма платоновской утопии внёс Х. Гюнтер. В одной из последних работ исследователь заявляет, что «Чевенгур» представляет один из наиболее распространённых видов временной утопии – хилиазма (или миллениаризма). То есть речь идёт о «религиозно обоснованной мечте о тысячелетнем царстве Нового завета, предполагающей катастрофическую гибель старого мира и наступление Царства Божия» [Гюнтер, с. 14]. На вопрос, каким образом Платонов мог быть знакомым с учениями еретических направлений позднего Средневековья, учёный отвечает, что близкий к идеям пролетарской культуры Платонов наверняка был знаком с книгой А. Луначарского «Религия и социализм», «которая открывала ему доступ к истории и идеологии раннехристианского и средневекового хилиазма» [Там же]. В статьях Х. Гюнтера обозначены и такие темы, как переключки романа с феноменом юродства, со старообрядчеством и русской апокалиптикой.

Были и другие попытки объяснить мистицизм чевенгурцев – например, связав их идеи с сектантством. О сектантских мотивах в романе

писали Е. Толстая-Сегал, Х. Кубо [Кубо], правдоподобные параллели «Чевенгура» с русским сектантством описал Е. Яблоков. Например, он обратил внимание на кличку лидера чевенгурцев Чепурного – «японец». Это прозвище, пишет учёный, имеет связь с легендами старообрядцев и бегунов, согласно которым Беловодье – последняя праведная земля, находившаяся именно в Японии [Яблоков, с. 595]. Называя многочисленные элементы сходства с сектантскими реалиями, исследователи всё же полагают, что «по поводу “Чевенгура” нельзя сказать, что он является романом о сектантстве» [Кубо, с. 80]. Однако чевенгурцы ставят в основу задуманного проекта христианскую по сути заповедь «возлюби ближнего своего». Таким образом, «коммунизм» для них – более «совершенная форма несовершенного христианства» [Там же, с. 77].

Ещё один важный аспект, без которого разговор об утопии в «Чевенгуре» уже кажется невозможным, – утопия языковая. На её подлинное значение первым указал Иосиф Бродский, высказав мысль об абсолютной власти языка, в котором и заключена тупиковая, утопическая философия русского народа. «Первой жертвой разговоров об Утопии – желаемой или уже обретенной, – писал И. Бродский, – прежде всего становится грамматика, ибо язык, не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении и начинает тяготеть к вневременным категориям и конструкциям; вследствие чего даже у простых существительных почва уходит из-под ног, и вокруг них возникает ореол условности. Таков, на мой взгляд, язык прозы Андрея Платонова, о котором с одинаковым успехом можно сказать, что он заводит русский язык в смысловой тупик или – что точнее – обнаруживает тупиковую философию в самом языке» [Бродский, с. 72], а «наличие абсурда в грамматике свидетельствует не о частной трагедии, но о человеческой расе в целом» [Там же].

Тему языковой утопии и «утопического» языка как «текстопорождающего» [Радбиль, с. 7] в творчестве Платонова развивали затем многие учёные. О неразрывной связи языка Платонова и его художественного мира писали И.М. Кобозева, Н.А. Кожевникова, Ю.И. Левин и М.Ю. Михеев, И.А. Стернин, М. Шимонюк, Т. Радбиль, И.Б. Ничипоров. Логический итог большинства работ – мысль о том, что утопия, только желаемая и недостроенная чевенгурцами, является уже «обретённой» [Бродский, с. 72] в «невозможном» языке героев. «Первенство ожидания над деянием, приоритет проекта над действительностью порождают власть языка, выстраивающего альтернативу реальности» [Рыбальченко, с. 16]. Именно в языке, искажающем традиционный хронотоп, представления о границах между одушевленным и неодушевленным, стирающим границы между природным и социальным, отражена действительность, о которой мечтают чевенгурцы. Утопия строится героями согласно формулировкам и в соответствии с грамматикой их «невозможного» языка.

Таким образом, изучение языка является одним из основных подходов к пониманию утопии «Чевенгура» – наряду с исследованием социальной и философской утопии в романе. Кстати, о «трёх основных

аспектах интерпретации, таких как: онтология; антропология и социология; поэтика» говорит и Т. Рыбальченко, считая их основными подходами к пониманию творчества Платонова вообще [Рыбальченко, с. 13].

Правда, в последние несколько лет вышло немало работ, где утопия Платонова рассматривалась иначе. Например, интересные результаты получились в ходе исследований, в которых вопрос ставился не о том, какой утопией является «Чевенгур» – онтологической, социальной или языковой в большей степени, – а о том, является ли вообще это произведение утопией. Большинство исследователей отметили, что «Чевенгур» – это уникальное в жанровом отношении произведение XX в. и говорить о нём как об утопии можно лишь более или менее условно.

Разброс определений жанра «Чевенгура» свидетельствует о том, что произведение не вписывается в рамки классической утопии, появление которой связано с «Государством» Платона, а расцвет – с социал-утопистами эпохи Возрождения, к примеру Томасом Мором или Кампанеллой. Однако оно может быть рассмотрено как утопия XX в. Признаки классического жанра присутствуют в «Чевенгуре», поскольку общий признак всех утопий – «их пространственная и временная отдалённость и выраженная маркировка границ» [Гюнтер, с. 12]. Но во всём остальном утопия Платонова не похожа на свою предшественницу по жанру, поэтому в отношении «Чевенгура» уместно говорить об утопии лишь как о «памяти жанра» (М. Бахтин). Так, в своей последней работе о Платонове Х. Гюнтер пишет, что в отличие от классических платоновская утопия находится в стадии становления и одновременно распада (движется к антиутопии) [Гюнтер, с. 9].

Таким образом, чевенгурская утопия может быть рассмотрена с самых разных позиций. Внимание к этому вопросу возникло почти одновременно с первыми большими исследованиями творчества Платонова в целом. Утопию писателя рассматривали в социальном, философском ключе, с точки зрения народной эсхатологии и с точки зрения языка. «Чевенгур» «совмещает в себе различные виды утопического мышления» [Гюнтер, с. 12], и поэтому каждый подход открывал новые грани произведения. Вместе с тем произведение Платонова не является классической утопией: это оригинальное в жанровом плане произведение XX в. с особой спецификой, близкое роману-мифу или «метапрозе», а в целом ему присуща «жанровая неуловимость» [Юрьева, с. 239]. Однако при абсолютной уникальности роман Платонова – это не только «абсурд национальной истории» [Рыбальченко, с. 19], но и продолжение самых разных, порой очень глубоких традиций. Именно поэтому наиболее продуктивными в исследовании утопии «Чевенгура» оказались работы, опирающиеся на традиции, выявляющие их в произведении Платонова.

Литература

Бродский И. Послесловие к «Котловану» А. Платонова (1973) // Бродский И. Сочинения. Т. 7. СПб., 2001.

- Варшавский В.* Родословная большевизма. Нью-Йорк, 1982.
- Васильев В.* Национальная трагедия: утопия и реальность (Роман «Чевенгур» в контексте его времени) // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М., 1994.
- Гальцева Р.* Очерки русской утопической мысли XX века. М., 1992.
- Геллер Л., Нике М.* Утопия в России. СПб., 2003.
- Геллер М.* Андрей Платонов в поисках счастья. Париж, 1982.
- Гурвич А.* Андрей Платонов // Красная новь. 1937. №10.
- Гюнтер Х.* По обе стороны утопии: Контексты творчества А. Платонова. М., 2012.
- Киселёв А.* Одухотворение мира: Н. Фёдоров и А. Платонов // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М., 1994.
- Кубо Х.* Сектантские мотивы в Чевенгуре Андрея Платонова // ACTA SLAVICA IAPONICA. Vol. 15. 1997.
- Платонов А.* Чевенгур // Собр. соч.: в 8 т. Т. 3. М., 2011.
- Полтавцева Н.* Философская проза Андрея Платонова. Ростов н/Д., 1981.
- Радбиль Т.Б.* Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие. М., 2012.
- Рыбальченко Т. А.* Платонов в интерпретации русских писателей второй половины XX века // Филологический класс. Томск, 2012. № 28.
- Толстая-Сегал Е.* Идеологические контексты Платонова // Воронежский край и зарубежье. Воронеж, 1992.
- Циолковский К.* Будущее земли и человечества. М., 1928.
- Шубин Л.* Поиски смысла общего и отдельного существования. М., 1987.
- Юрьева Л.Н.* Русская антиутопия в контексте мировой литературы. М., 2005.
- Яблоков Е.А.* Комментарий // Платонов А. Чевенгур. М., 1991.